

«...День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен»¹.

Льётся зной, мы терпим, он льётся, мы терпим.

– И не надо ни «Форели», ни «Реквиема». Надо жить, жить, жить. Ты – Зоя. Жизнь.

– Помнишь, как мы любили друг друга? – спросила меня Зоя, надевая чёрные роговые очки деловым жестом.

В окно палаты лопился рыжий пережаренный август 2014; из коридора подтекало больничное амбре: суп и камфорный привкус бытия.

Зоя водрузила очки в очевидном рассуждении смотреть настенный телевизор, а меня убедить в привычном токе событий, будто гангрены нет.

– Помню, – я маленькой обожала Зою. – А что ты чувствовала вчера в реанимации? Там слышно?

– Злость: почему люди так быстро становятся покойниками! – отчеканила Зоя. – Ты всем передай: не болтайте. Там всё слышно.

Мы не миндальничали. Любовь так любовь, смерть так смерть. Редко кто умирает столь отважно и по-взрослому, как моя крошечная семидесятилетняя Зоя, с её тридцать четвёртым размером туфель, хрустальным голосом ангела и неповторимым упрямством.

Предсмертный кайф ни с чем нельзя перепутать. Если человека выбить из лютого кайфа – спасти для здешней жизни ещё можно. Обычно люди выпадают в блаженство; внезапный покой, *всё равно* и полёт; врачи скорой помощи остро наблюдательны, душат умирающих по щекам и кричат *открыть глаза*.

Зоя не кайфовала, несчастью больную не изображала; деловито надела очки, распорядилась передать живым, чтобы не трясли над уходящими. Передаю.

...Я родилась, когда Зоя-школьница заканчивала десятый класс. Через семь лет Зоя повела в первый класс меня. Мы две влюблённые константы. Остальная семья мне, ребёнку, долго была бантиком. Всё мешало моей любви, как розовые рюшечки на голубом покрывале. Вероятно, что-то может быть хуже, но рюшечки как образ пошлости всплывают обычно – не помню почему.

Завидя Зою во дворе, бросалась я навстречу, регулярно спотыкалась и шлёпалась на асфальт, и колени мои всегда светились тёмно-зелёным и красно-бурим. Любовь не отступала, сбитые колени страдали, но что уж! От моего сердца к Зое тянулась нить золота и света. По сей день узнаю чистый ток любви по звенящей золотом нити, вылетающей из сердца без помех. Лучшая любовь – без помех. Любишь – и всё.

Всю её семидесятилетнюю жизнь её *нет* означало *нет*. Бескомпромиссная изумительно, красивая скульптурно. Метр пятьдесят шесть росту. Она младшая из детишек моей бабушки (та вовсе метр пятьдесят четыре). Формально степень – родная тётя, но кучее слово в семье не обращало у нас ни к своим, ни к чужим. Я слышу в нём и отчуждённость, и лубочную забубённость хмельного деревенского плясуна. Деперсонализация. *Тё – тя – тё – тя* – скрип несмазанных петель пендельтора.

Посему только по имени: Зоя. Ты. В иных дворах, безуслвно, царила тётя Клава, дымил дядя Петя. У нас – нет. Никогда. Меня тошнит от слов *тётя* и *дядя*. Как похмельный ковбой, я бью ногой в порепанный киношный пендельтор, впадая в салон, где расслабляются дяди с тётями, стреляю с двух рук в неприятные слова и всегда готова выслушать оппонента: «Да мы все так всю жизнь говорим!...». Да. Конечно. А я – нет. Человек, которого я люблю, особый; нельзя пачкать малышovým, умильным, хлопаяющим словом *тётя*. Но я понимаю простого человека, которого тянет из родной галактики в чужую: боль он оставит свою под кирпичом на ледяном астероиде, прикопает и улетит. А мы, звёзды, привязаны к Закону Божьему, мы на работе, нам шалить нельзя.

Я любила её до одури, навывлет. Зоя, получив меня на передержку, впервые тетёшкала такого маленького ребёнка; никто не знает сроков, и Зоя вкладывалась целиком. Вязала мне на косу прозрачные банты мягчайшего цветного шифона, и славились они по всему Воронежу. Она гуляла со мной за руку

и пела памятной ребёнку всё, что хранилось в душе музыканта: училась она на дирижёрско-хоровом. Голос у неё сопоставим со специфическим *моцартовским* *звучкам* рояля начала XX века. Мне подарили рояль на мой тридцатый день рождения. Кабинетный чёрный рояль с медалями от Императорского общества на крышке и бронзовыми подсвечниками на деке. Рама и механика – венская прямострунка. Последние слова написаны тут для специалистов.

В начале нашей любви Зоя пела и спи-моя-радость, и спи-моя-светлана, и котя-серенький-коток, и всё-всё. Но под колыбельную «Золотая рыбка» я и сейчас не усну. Надрывная *Złota rybka!* – Станислав Монюшко, польско-белорусский классик (Stanisław Moniuszko, Станіслаў Манюшка, что ты наделал!) написал её в 1860 году, и многие всерьёз уверены по сей день, будто песенка – детская, и поют себе, поют, поют; обычно по-польски. Зоя мне пела по-русски, поскольку мы шли по Воронежу. Шли, шли, а как-то перешли железнодорожный мост и очутились в странном райончике: центр города, но как задворки. Дошли до улицы с хрустким именем *Урицкого*, и Зоя замолчала. До смуты 1917 Воронеж имел в три вилюшки Привокзальный посёлок. Улица старинная была временами Большая Троицкая, порой Волконская, местами Соболевский переулок, а, в основном, Бринкманская по имени сада и Бринкманов, его и земли под посёлком владельцев.

Пришпартанный в сердце города уголок старины, невесть как выжившей – в войну город разбомбили – таил, как детский секретик со стёклышком под деревом, не знаю что, но скрывал невысказанное. Есть в провинциальных городах тенистые улицы. Они пытаются сказать правду жизни. Но невозможна правда в жизнеописании, хотя стремиться к чистому зеркалу мы, нестору, обязаны. Вот если бы камни говорили, мы все примолкли бы. Вымысел наш неоподушен, если мы предупреждаем: врем, но честно, поскольку komponуем; а тенистые улицы со старинными домами свидетельствуют, и я – хватъ топонимы как крылья – и летаю.

Я не знала из громадного наследия Станислава Монюшко ни звука, кроме душераздирающей «Золотой рыбки»: плывёт по реке, а ребёнок зовёт её на берег поиграть и готов платить всем наличным богатством своим – «хочешь, все игрушки я тебе отдам?» – а рыбка продолжает путь, и «малютка горькие слёзы льёт». Песня о неразделённой любви. Страшно. Рыбка глуховата? Зоя пела в переводе «хочешь, я игрушки все тебе отдам...» И ведь разница есть: *хочешь, все* или *хочешь, я*. Первый вариант отдаёт рынком, второй – лирическое предложение всего себя и безоглядность. В учебнике по золотым рыбкам написано, что сообразительны они, слышат и обоняют прекрасно. Значит, сволочная неподкупная рыбка просто издевается над малюткой.

Теперь я себя спрашиваю, в 2024 году: почему мировое искусство не справилось? Все искусства – фото, видео, моно, стерео, кино, цирк, поэзия, донос, памфлет, шахматы, политика, ирония, скорбь, история, спорт, секс, шоу, криминалистика, флористика, танатология, бизнес, философия и даже метеорология – сказали своё слово. Разве что балет промолчал. Но не справились все. А ведь я верила, что поймашь золотую рыбку – мир озарится вечным добром.

Думаю, детство моё раннее вышло избыточно театральным. В тени берёзовых рощ, когда Зоя пела мне о высокомерной рыбке, я листала альбом карикатур и копировала грустные рисунки Херлуфа Бидструпа через чёрную бумагу простым карандашом. У знаменитого датского сатирика всё не смешно. Да, мастер, но у него всем не повезло. Вы помните, как два пороса в брильянтах – он и она – с умилением берут с улицы бездомного и сотворяют ему рождественский уют с подарками, ёлочкой, свечками, улыбками, глубоким плюшевым креслом, и по уши тонет в неге рая счастливчик с небритыми щеками. По окончании вечера человек со свистом вылетает в метель, и не успел он удивиться смене обстановки, как в копчик ему благотворительно прилетает лакированный удар буржуинского башмака. Сеанс человеколюбия окончен, говорит советскому читателю книга западного художника, чтобы разобрал, где живёт перманентное человеколюбие, а где дискретное. Я-то сразу поняла, я взрослая, мне уже лет пять или шесть, – что бывают нехорошие богатеи: поглядят небритого бездомного, а потом пинком под зад. Звери. Как так можно. И чванливая рыбка, сверкая золотыми боками, плывёт мимо рыдающего человека. Не вернуться от познания, ну никак.

...Реанимация в августе плоха жарой, измученностью жертв и врачей, а у меня в другой больнице ещё и муж чуть живой, и я катаюсь между районами Москвы, холодно вопрошая расплавленные небеса, кого из них удастся спасти – Зою или мужа. Я пендельтор, осыпается старая краска, кач-кач, и почти вся уж облузилась. Хвост кусает голову: в иных догматических газетах пишут, что смерть – главное событие жизни. Утверждение сильное, но небесспорное, хотя выдолблено, считай, в камне. Зоя с древнегреческого *жизнь*, *ζωή* – эолийский диалект; отсюда наша с тёткой бешеная любовь: в нашей крупной семье она единственная – моя планетарная землячка; в детстве, пока просто любовь, подобное в голову не приходит; лишь с возрастом, когда нахватаешься слов.

Решение вошло в голову ранним утром 31 августа 2014, и я нашла в раскалённой Москве почти первую её почти любовь: Виктора. Он мальчишкой жил в том же послевоенном дворе и всё видел. И вы видите – я никак не начну повествование о фонтане: мне то литературно, то жизненно, и всё ни к месту любовь,

словно в доме покойника поговорить о бабах покойника, не оставив места самому, но всё чушь, и я уже десять лет не могу записать эту историю, и сейчас, возможно, последняя попытка.

Упругой походкой в гроб низойти нелегко. В Москве в описываемый период жил философ, публицист-антиэйджист Р.; выступал по радио, устраивал показы похоронной моды; он хотел людям добра. Дефиле от бедра к одру. Сам умер внезапно, молодым. Мы познакомились на светской вечеринке. Р. был в белом пиджаке.

...Юная Зоя начала шествие по пути – путешествие – выпускным экзаменом музыкального училища. Маленькая и прекрасная, как фарфоровая статуэтка, дирижировала она *Dies irae* Верди, «Реквием». Зоя за пультом была незрима ввиду роста, неприемлемого для оркестрового дирижёра. Её не было видно из середины зала, где я сидела, и мне казалось, будто хор и оркестр взывают ко Всевышнему самостоятельно:

Dies ira, dies illa,

Solvet saeculum in favilla:

Teste David cum Sibylla.

Латинская средневековая скорбь заполнила мирный провинциальный зал: полный симфонический оркестр и хор слаженно и величественно ревели пред госкомиссией дирижёрского-хорового факультета будто в отсутствие управляющего начала. Концертная конструкция, не лишённая inferнального юмора: буквально под Богом ходим и Богу поём. Ни дирижёрской палочки, ни рук, ни страдальческого лица, как, например, в наши дни у Курентзиса. Но за *Dies irae* Зоя получила *отлично* и приглашение на работу, коим и воспользовалась немедленно. Наша крошка стала хормейстером огромного государственного коллектива.

В биографиях невозможна правда, ибо читатель жаждет до сюжета: сознание не берёт из справочника, не может; фабулы – *как было* – ему мало. Налей читателю сюжета чарку! Сюжет – это *как рассказали* фабулу. Плутарх понимал. Античный *ψόγος* – псогос, то есть хула, либо *ἐγκώμιον* – энкомий, то есть восхваление, издревле стучат копытцами под дверью господина сочинителя: не говори *как было*, говори как можешь. Я не могу рассказать её: Зоя – жизнь по-гречески. Могу попробовать о любви, но где она, любовь! Я люблю Зою. На Земле не всегда любят своих, родню, близкие души; часто любят просто так. Как хорошо любить без причины. Знаю!

...И я привела Виктора к Зое в больницу, и они пели песенки, а я записывала видео, как люди поют: он успешный, семейный, в бизнесе, красавец-полковник; она – при смерти ввиду диабета и сопутствующих, разведёнка, грузная, полуслепая, ноги в гангрене. Но голос её чист, и дуэтом может прозрачно и ввысь, и лёгкость струилась по палате. Профессия неубиваема. Профессию своим детям придумала моя бабушка, их общая мать, вечно ими раздираемая на кусочки ввиду кипения детской ревности.

...После войны моя бабушка со всем выводком вернулась из эвакуации в Воронеж. Зою бабушка родила ещё там, в Николаевске-на-Амуре, выполняя рекомендацию гинеколога: родить для оздоровления. Из всех её детей Зоя – плановый ребёнок один. Остальные получились ввиду замужества и страстной дедушкиной любви к жене. Он буквально не мог остановиться. Когда бабушка умирала, я сидела рядом с ней в палате интенсивной терапии, все прочие в ту минуту вышли в коридор, она убедилась, что мы одни, и попросила меня:

– Передай ему, чтобы пошёл на х.. и не приближался к больнице! – отчётливо и громко высказала мне бабушка своё последнее желание. И – шестой инфаркт. Её не стало 20 сентября 1986. Заметим число: 20 сентября. Это важно.

Бабушкины дети все любили её до крайнего безумия, а сын, музыкант, после её смерти перестал писать музыку, потому что писал её для матери. Все мы, дети её и внуки, делали всё, чтобы нас одобрила *она*. Зоя внешнею единственная вышла копией матери, отчего ей одобрение не требовалось в той надрывной степени, как нам. Голоса их были до старости хрустальны у обеих, ангельские. Зоя родилась и жила на особом счету, и никто не спорил. В чём-то нам всем повезло чрезвычайно: ведь не каждый скрипач, альтист, дирижёр и писатель может, как все мы, обращаться к праматери как единственному адресату – без сантиментов, с умом и сердцем.

Одна юная женщина, в анамнезе поэтесса, на днях сказала мне то же самое: после смерти её родни стинули все значимые критики её жизни, от которых и слова доброго не дождёшься, вечно недовольные, вечно с подначкой, словеса с вытребеньками, будто девица с коромыслом плывёт по картине, а поодаль хамы хамят, потирая жаркие подбрюшья, но прощать их легко: они всегда заинтересованы. И у нас клановая черта: лучше не хвалить вовсе, лишь бы не перехвалить. Манера от бабушки: она держала планку, но если кто-то из нас играл или пел порядочно, могла заплакать от радости. И всё: счастье. Мы – таяли. Мы знали, что не по земной *кровиночке* плачет мать, а по уровню, предъявленному нами в искусстве.

...Всё-таки странно действует смерть близких на художника. Кто прекращает вовсе, а кто переходит, скажем так, на бутерброды: из лириков изливается философия, рифмы разбежались и потерялись прищепки, искать и склеивать метафоры лень, и возрастает умствование.

...Я всё никак не перейду черту. А, ладно. Нет сил. Зоя в августе 2014 умирать не стала, словно уважила мои старания. Мы успели в августе, между реанимациями, наговориться за всю жизнь, несмотря на её злой

атеросклероз, время от времени выводявший её сознание в параллельный мир со спутанными датами, но главные ноты были всегда при нас, и Зоя ни разу не перепутала любовь с ненавистью. Я договори-лась в больнице, чтобы Зою оставили у них ещё на месяц, но тут заскочила шустрая судьба и на маши-не уволокла Зою в Воронеж, а там она умерла день в день со своей матерью – на дистанции времени, но день в день – 20 сентября. Dies irae.

Их общий голос и точёный овал иконных лиц вкупе со стальным характером – всё ушло в песок, их нет уже, но я знаю теперь, что никто ни у кого просто так не рождается, даже если доктор посоветовал. О зачатии звука говорю, и никто не подумай, будто люди появляются из удачливой зиготы. Мир звучит; человеку звучать – естественно. Бабушка в юности проходила мимо воронежской музыкальной школы не дыша, как воцерковлённый неопит мимо храма. Изю всех окон лилась разноголосая сладчайшая ка-кофония – под музыку бабушка клялась, что выучатся дети здесь. Все мы выучились, а Зоя тут полжизни ещё и преподавала. Всё в дом, всё в дом, и – музыка фонтаном.

И не подумая строить композицию. Для сюжетного удобства могла с фонтана и начать, но нет. Фонтан на улице с хрустким именем невесть-кто-таков-*Урицкого* 1949, по возвращении в город жителей из эвакуации, вернул себе роль места силы. Фонтан помнил ещё старых и красивых провинциальных любовников дореволюционной выделки. В начале XX века тут фланировали. Полагаю, девы опускали пальцы в холодную воду. Фонтан и в революцию выжил, и после Первой войны, по выводе барышень из оборота века, журчал он граду и миру.

Там на улице Урицкого и затейливые каменные дома, сложная кладка, и деревянных узоров музыка, и нравы строго-невинные, девицы строгие, невиданные. По окончании первой смуты с беспардонной трансграничностью века дали улице, понятно, имя Урицкого: Моисей Соломонович до кончины своей в 1918 был председателем Петроградского ЧК. Его убили в тот же день, когда Фанни Каплан ранила Ленина. Огнестрелы бухнули на изрядном расстоянии от Воронежа, в котором ни единый камень Урицкого не помнил, ибо при жизни чекист в Воронеже не был, но, как бывало на каждом шагу, донеслось имя, приклеилось.

Влажный жезл эстафетный, палочка пятиметровая, свежесть и вечность – кто не кидался поговорить о фонтанах, написать стишок – все! Султаны любили фонтаны, цари, безногий мужик послевоенный – всем любовь говорит о фонтане. Воронеж разворотило, но граждане вернулись из эвакуации – а фонтанчик на Урицкого жив. Он спору взялся за своё. Фонтанирует, чудо хрустальное. Тут что-то метафизическое. Худенькая Зоя пяти лет вскарабкалась на каменный край чаши, поскользнулась и упала в воду. Через пять секунд перепуганную девчонку выхватили доминошники, мокрое в зелёный горошек платье сорвали, слёзы вытерли. Старик-сосед рубашку свою скинул свежую, завернул ребёнка целиком. Из окна второго этажа сверкнули глаза. Через минуту женщина-мать с прекрасным маникюром вышла во двор красивой быстрой походкой, будто на каблучках, забрала хлопающее дитя и унесла вместе с платьем. У моей бабушки была предсказанная судьба и характер донского казака. У моей бабушки было много детей, включая меня, внучку-сироту. Своих внутриматочных рожала бабушка пять с половиной раз. Абортов, подпольных ввиду сталинского запрета, она запомнила примерно двадцать. Разумеется, без наркоза. Я ей досталась по старшей дочери, рано умершей ввиду лютой любви. На следующее утро после паде-ния ребёнка в воду приехала бригада и бульдозер. Опешившие доминошники, переглядываясь, похва-тали костяшки, табуретки, столик с избитым квадратом серо-молочной пластмассы в крапинках оспин от «Беломора», отступили к яблоням. Мужики молча глядели, как гибнет их послевоенная вселенная. Ужасом стянуло душу, как тонкую кожу на степном ветру. Уничтожение фонтана, вокруг которого жил весь двор, вышло вроде гимна материнству, и нам их не понять. Ребёнок Зоя была четвёртый. Не первый, не единственный. Но фонтан, на миг испугавший её последнюю девочку, с лица земли смахнула бабушка, ровно случайную муху.

И когда работяги подневозльно казнили фонтан, в преисподнюю потекла золотистая июльская про-хлада, полная незримой форели Шуберта. Вода ввинтилась в узкую горловину бездны и – кончилась. Открылось бутристое бурое дно. Бетонную чашу раздолбали, крошево сгребли, мелочь вымели, трубы заварили. Планеты, спутники, кольца вертелись на местах, объятые своей провинциальной вечностью; недовольная пылинка двуногая тщицалась перекакофонить Бога. Пылинка всегда строит капсулу – про-шмыгнуть сквозь строй, порядок, обойти склоны пространства, изогнуть время, переписать Закон. Пылинка, польхающая страстью.

Мокрый круг следа залили горячим духмяным асфальтом. Он распаренно и нагло, по-чёрному пере-дразнил высокое полуденное Солнце, не доигравшее своего Шуберта на прощальных струйках. Маленькая Зоя больше не играла у фонтана. Мне маленькой она пела страшную «Золотую рыбку». Пролетел гордый шижон журавль, и синица шнырь-чирик за журавлём из руки; встало солнце, упало солнце.

Доминошники в глубине сердца понесли по домам недозабитого козла.

¹ Соф 1:15-16, Ветхий Завет.